

Константин Леонтьев

# Грамотность и народность



Константин Николаевич Леонтьев

## Грамотность и народность

Он горячо жаловался на то, что «Россия велика, да не сердита», ставил в пример нам свою маленькую Грецию, которая схватывается с огромной Турцией. ... Я защищал умеренную русскую политику, доказывал ему, что самое бессилие Греции есть в известном смысле сила и что всякое несвоевременное движение наше ввергло бы и греков в неисчислимы бедствия. Он все стоял на своем и приписывал умеренность нашей политики необразованности нашего народа. «Оттого, – говорил он, – Россия и не сердита, что народ пробудить трудно на жертвы в пользу идеи... Подите, пробудите русского мужика!»

# Содержание

Константин Леонтьев Грамотность и народность	0004
.....	0004
I.....	0005
II.....	0016
#4.....	0037
III.....	0049
IV.....	0056
#7.....	0069
#8.....	0080

# **Константин Леонтьев**

## **Грамотность и народность**

Много мы читали и слышали о безграмотности русского народа и о том, что Россия есть страна, где *«варварство вооружено всеми средствами цивилизации»*. Когда это пишут и говорят англичане, французы и немцы, мы остаемся равнодушными или радуемся тому внутреннему ужасу за дальнейшее будущее Запада, который слышится под этими затверженными без смысла строками.

К несчастью, подобное неосмысленное понятие о России и русских существует и у тех народов, которых связывают с нами племенная близость, или вера и политическая история. Случай заставил меня довольно долго прожить на Дунае. Жизнь на берегах Дуная очень поучительна. Не говоря уже о близости таких крупных национальных и политических единиц, как Австрия, Россия, Турция, Сербия, Молдавия и Валахия, – посещение одной такой области, как Добруджа, не может пройти бесследно для внимательного человека.

В этой турецкой провинции живут под од-

ним и тем же управлением, на одной и той же почве, под одним и тем же небом: турки, татары, черкесы, молдаване, болгары, греки, цыгане, евреи, немецкие колонисты и *русские нескольких родов*: православные малороссы (удалившиеся сюда отчасти из Сечи Запорожской, отчасти позднее во времена крепостного права), великороссы-старообрядцы (липоване), великороссы-молуканы и православные великороссы. Если прибавить сюда и берега Молдавии, которые так близки – Измаил, Галац, Вилково и т. д., то этнографическая картина станет еще богаче, и в молдавских городах, сверх вышеисчисленных русских иноверцев найдем еще и скопцов в большом количестве. Между извозчиками, например, которые в фаэтонах возят по Галацу, очень много скопцов. То же самое, как слышно, было до последнего времени в Яссах и Бухаресте.

Систематическое, сравнительное изучение быта племен, населяющих берега нижнего Дуная, могло бы дать, я уверен, замечательные результаты. Обстоятельства не позволили мне этого сделать, но я уже доволен и тем, что сама жизнь дала мне без внимательного

и правильного исследования. Я дорожу особенно двумя добытыми результатами: живым наглядным знакомством с русским простолюдином, *перенесенным на чужую почву*, и еще знакомством со *взглядами наших политических друзей на нас и на наш народ* [1].

Один афинский грек, весьма способный, образованный и занимавший в течение своей жизни должности не совсем ничтожные, известный, сверх того, как человек русской партии, вступил однажды со мной в разговор о нашей родине вообще.

Он горячо жаловался на то, что «Россия велика, да не сердита», ставил в пример нам свою маленькую Грецию, которая схватывается с огромной Турцией. (Этот разговор происходил в 1868 году еще до несчастного исхода критских дел.) Я защищал умеренную русскую политику, доказывал ему, что самое бессилие Греции есть в известном смысле сила и что всякое несвоевременное движение наше ввергло бы и греков в неисчислимые бедствия. Он все стоял на своем и приписывал умеренность нашей политики *необразованности нашего народа*. «Оттого, – говорил он, –

Россия и не сердита, что народ пробудить трудно на жертвы в пользу идеи... *Подите, пробудите русского мужика!*»

Я не стану излагать здесь своих возражений, скажу только, что он изменил потом свои взгляды и, уезжая в Афины, благодарил меня за то, что я открыл ему много, чего он и не подозревал в России.

Немного погодя, после первой моей беседы с этим *весьма просвещенным греком*, я шел вечером в Галаце по площади, которая прилегает прямо к набережной Дуная. У самого берега стоят постоянно, по договору, небольшие военные суда великих держав. Они все стоят подряд; но экипажи живут особняком, и каждый по-своему. Поют матросы на всех судах, но чаще и лучше всех поют хором наши.

Каждый вечер они поют то церковные стихи, то народные грустные песни, то удалые солдатские. На берегу около канонерской лодки «Чатыр-Даг» – всегда в это время собирается народ послушать русских. Сидел и я долго на камне и слушал.

Совсем было уж темно, когда я удалился; передо мной шли разговаривая *два грека*, про-

*стые матросы с купеческих судов.*

– Хорошо поют русские! – сказал один.

– Только поют! – отвечал другой.

– Погоди, *проснутся и они*, – возразил первый.

– Дождись, чтобы они *проснулись!*..

С этими словами греки вошли в переулок, а я пошел в другую сторону, и когда вспомнил слова моего афинского друга, столь сходные со словами матросов, мне стало больно не за русских и за их безграмотную простоту, а за греков и за их грамотное незнание. Я греков люблю, и мне жаль, что они, влачась во всех понятиях за политически ненавистной им Европой, просмотрят и проглядят сами великую, назревающую славяно-русскую культуру, которая одна только в силах обновить историю.

Спустя несколько времени, мне случилось быть в Измаиле и гулять по бульвару, на котором *еще целы* полосатые *русские столбы* под фонарями.

В Измаиле все еще пахнет Россией: пролетки и телеги с дугами, рубашки навывпуск (так же, как и в Тульче), бюрократически-пра-

вильные бульвары, гостиный двор, в котором продают и теперь русские купцы даже и *кумач красный*... Посреди площади стоит около бульвара собор, выстроенный по плану, сходному с планом калужского и других губернских соборов новейшей казенной постройки.

В соборе половина службы идет по-русски, а половина по-румынски; на колокольне соборной звучат густые русские колокола...

Многие из румын и греков, живущих в Измаиле, говорят по-русски...

О русском управлении многие сохранили здесь недурную память...

Итак, я гулял на бульваре; со мной ходили двое молодых людей; один был грек полурусского воспитания; другой – молдаван полуфранцузского воспитания.

Не помню, который из них начал сравнивать Тульчу с Измаилом и, вероятно, желая угодить моему русскому чувству, сказал:

– Конечно, на каждом шагу видно, что Измаил был в руках просвещенной нации, а Тульча – турецкий город. Здесь *прямые* улицы, бульвар *правильный*... и т. д.

Я отвечал ему на это: – Тульча несколько

не похожа на турецкий город и это очень жаль; турецкие города крайне живописны; Тульча похожа на новороссийский уездный городок, беспорядочно построенный *самим народом*; и этим она, пожалуй, – лучше Измаила, в котором Россия являлась не столько народными, сколько полу-европейскими своими сторонами. Нет спора – я сам вырос в губернском городе, и вид Измаила как нельзя более близок душе моей, но это не мешает мне желать, чтобы русское начальство, когда ему впредь придется украшать или строить города, менее бы увлекалось геометрическими вкусами новейшей Европы.

Молодые единоверцы наши, видимо, не поняли меня и возражали совсем не на то.

Таким образом завязался разговор, который кончился так:

– Сознайтесь, – сказал я молдавану, – что душе вашей ближе французы, чем русские; вы цените больше французский ум и характер, чем наш; я не говорю о политических отношениях... Это совсем другое... Молдаван отвечал мне на это искренно:

– Я сознаюсь вам, что я простолюдина

французского ставлю выше русского мужика; но русского, равного образованием с французом, я ценю и люблю больше и француза, и англичанина, и всякого другого европейца!..

Я тогда спросил у него: кто ему больше нравится – русский ли учитель или молодой чиновник нового поколения, честный, скромный, трудолюбивый, но безличный, живущий последними модными мыслями Запада; человек, которого по образу жизни, по манерам, по разговору, одежде, симпатиям можно отнести к буржуазии всякого народа, – *или же...*

Тут я указал молдавану на одного придумайского старообрядца, старца в высшей степени замечательного по личному своеобразному характеру своему, по политическому влиянию и, наконец, потому, что, вращаясь во всех возможных слоях общества, вступая в течение долгой своей жизни в сношения с людьми высшего круга различных наций, он остался верен своему русскому старообрядчеству во всем, начиная от рубашки навыпуск и кончая отречением от табаку и чая.

Молдаван сказал, что он, конечно, предпо-

читает первого русского второму.

– После этого разговор между нами невозможен, – отвечал я. – Чтобы вы могли понять меня, вам надо забыть все, что вы знали, и слушать меня долго и часто, увлекаясь не желанием переспорить, а жаждой понять...

Молодые люди молча подивились моим претензиям, и мы Расстались.

Я рассказал о греках и молдаванах; я мог бы рассказать тоже о болгарях и, вероятно, о сербах, которых, впрочем, я знаю меньше.

Все единоплеменники и единоверцы наши ценят нас настолько, насколько мы – европейцы: им и в голову не приходит ценить в нас *то*, что в нас собственно русское.

Те из них, которые расположены политически к нам, ценят в нас: во 1-х, православное или славянское государство с миллионом штыков; во 2-х, по-европейски воспитанных светских людей, которые шириной своей образованности, по словам самих европейцев, превосходят многих; в 3-х, наши военные способности; в 4-х, они ценят чрезвычайно высоко, в один голос с европейцами, наши дипломатические способности и дальновидную

глубину нашей политики. (Правы ли они или нет, не знаю!)

Наконец, они признают все «свободолюбие» и всю серьезность реформ, предпринятых нынешним правительством нашим.

Но что такое наш народ? Что такое эта *масса*, этот океан, который они считают безгласным и бессмысленным, потому что он чужд мелочным и сухим демагогическим движениям? Этого они не знают и не могут узнать, пока *мы сами* еще немногим в этом отношении стоим выше их.

Некоторые из славян и греков, с которыми я говорил об этих предметах, считали меня каким-то демократом; им это простительно, но как простить русских, которые до сих пор не понимают, что здесь дело о *народном*, а не *просто-народном*.

Будь наше высшее общество своеобразнее нашего народа, надо было бы предпочесть его дух, его образцы, его обычаи, его идеалы, а не простонародные.

Такие примеры есть в истории. Парижанин *более француз*, чем хлебопашец французский. У хлебопашца французского – серьезно-

го, тяжелого, упорного в земельном труде, больше сходства с немецким хлебопашцем, чем у парижского франта и демагога с немецким ученым (особенно прежних времен).

Лорд английский (особенно прежний лорд) как физиономия, как тип, как характер, быть может, более олицетворял собою Англию, чем английский матрос; или, по крайней мере, столько же.

У нас вышло наоборот. Это чувствуется всеми.

Во время последней восточной войны, в одном из итальянских городов, на карнавале, выехала на площадь колесница с комической группой, изображавшей борцов Восточного вопроса: турок был в классической своей одежде, англичанин, кажется, изображен был в виде матроса; француз (это я помню наверное) в виде парижского франта, а «русский в виде *мужика*».

Так писали тогда в газетах.

Из всех расположенных к нам политически единоплеменников и единоверцев наших – чехи, мне кажется, скорей других могли бы понять и оценить Россию с той точки зрения, на которую я лишь намекнул в первой нашей главе.

Они это могут именно вследствие большей своей образованности, вследствие большего пресыщения западничеством.

Европейская образованность других политических друзей наших еще слишком зелена, чтобы они были в силах пресытиться однообразным идеалом западной культуры. Они еще *parvenus* европеизма и не в силах еще даже и теоретически подняться над ним...

Повторяю, это им извинительно; в этом виноваты много и мы сами.

К несчастью, и между чехами много есть людей *пропитанных*, но не *пресыщенных* европеизмом. Это видно по печатным мнениям некоторых из них.

К тому же западная публицистика, упоенная вещественной силою совокупно взятого

Запада, его механическими открытиями и распространением в нем мелкого знания (в ущерб высшему творчеству духа), поет дифирамб сама себе и своей мещанской почве, не подозревая, что *душа, убывает* вокруг нее, не замечая, что гений жизни с грустью собирается угасить свой факел...

Западная мысль поет на старые (когда-то юные) мотивы дифирамбы Западу и с презрением относится к нашему народу.

Славяне слушают это, и мысль их колеблется...

Еще не так давно в одной из стольких враждебных нам газет был представлен краткий отчет состояния грамотности в русской армии. Отчет этот был взят иностранным писателем из наших «Московских Ведомостей» и заключал в себе следующее обращение к чехам: «Сам г. Катков сообщает в своей газете, что грамотных солдат в русской армии 5 на *сто* [2] ! Что может быть общего у чехов, столь ученых, столь образованных и т. д., с русскими? Чехи говорят, что они в России ищут лишь *умственного вождя*... Нам кажется, что первое необходимое качество путеше-

дителя есть способность ясно видеть. Dans le royaume des aveugles les borgnes sont rois [3] и т. д».

Иностраннный порицатель нашей безграмотности указывает на *самого* г. Каткова, т. е. на одного из самых знаменитых и влиятельных русских патриотов...

Не знаю, что ответил бы г. Катков на это, если бы он обратил внимание на эту заметку. Может быть и он, и многие другие находят лучшим отвечать презрительным молчанием на все подобные нападки. Русские привыкли к ним; но я думаю, что не всегда эта метода хороша: молчание может быть приписано смущению перед горькою правдой.

*Я же нахожу, что эта правда не горька. Да! В России еще много безграмотных людей, в России много еще того, что зовут «варварством». И это наше счастье, а не горе. Не ужасайтесь, прошу вас; я хочу сказать только, что наш безграмотный народ более, чем мы, хранитель народной физиономии, без которой не может создаться своеобразная цивилизация.*

Я не хочу сказать, что народ наш совсем не

надо учить грамоте, что его не следует просвещать; я скажу только: наше счастье в том, что мы находимся «im Werden», а не стоим на вершине, как Англия у вершины, как немцы, и тем более не начали еще спускаться вниз, как французы.

Герцен вначале выражал какие-то надежды на будущее французского работника; и в этом, как и во многом, он ошибался. Не раз уже было замечено, что французский работник портится и пошлеет, когда он делается зажиточным буржуа.

У самого Прудона вырвались следующие слова: «la fortune loin d'urbaniser l'homme du peuple, ne sert le plus souvent qu'à mettre en relief sa grossièreté» [4] (La Guerre et la Paix, t. I глава IV).

Итак, вообразим же себе, что самый, столь несбыточный во Франции, революционный и социальный идеал удался бы и пустил в этой стране прочные корни; что крупная собственность была бы запрещена законом, как запрещены теперь рабство и убийство. Что же бы вышло? Обновилась бы народная физиономия француза? Ничуть; она стерлась бы еще

более. Вместо нескольких сотен тысяч богатых буржуа мы бы получили миллионов соток мелких буржуа. По роду занятий, по имени, по положению общественному они были бы не буржуа; по уму, по нравам, по, всему тому, что помимо политического положения составляет сумму качеств живого лица и зовется его духовной физиономией или характером, – они были бы буржуа.

Личность у людей, сила живого своеобразия была бы еще более убита, чем теперь во Франции.

Не таково положение наше!

Не обращаясь вспять, не упорствуя в неподвижности, принимая все то, что обстоятельства вынуждают нас принять разумно, без торопливости деревенского «*parvenu*», принимающего медь за золото, лишь бы медь была в моде у европейцев мы можем, если пойдем вполне и сами себя и других, не только сохранить свою народную физиономию, но и довести ее до той степени самобытности и блеска, в которой стояли поочередно, в разные исторические эпохи все великие нации прошедшего.

Замечательно, что в последнее десятилетие всякий шаг, который мы делали по пути *европеизма*, более и более приближал нас к нашему народному сознанию. Бесцветная и безвкусная, но видимо полезная (за неимением другого) вода всеобщего просвещения только подняла и укрепила русские всходы, поливая наши, нам самим неизвестные поля. Чтобы это было яснее, я обращусь к примерам. Их множество.

«Крепостное состояние и крепостное право в России было, конечно, явление весьма своеобразное. (Худо ли оно, хорошо ли было, не о том здесь речь.) Во всей западной Европе уже не было ничего подобного ко второй половине 19-го века. Казалось бы, что, уничтожая крепостную зависимость наших крестьян, мы приблизились к Европе... С одной стороны — да; с другой, напротив, отдалились. О нашей земской общине до окончания Крымской войны никто не думал. Помещики и чиновники видели ее бессознательно, не думая о ней. Литераторы или вовсе не знали о ней, или смеялись над горстью славянофилов, «которые, Бог знает, о чем думают и заботятся». Полеми-

ка журналов от 56-го года до нашего времени, труды комиссий по освобождению крестьян уяснили вопрос «общины». Она стала краеугольным камнем нашего земского и государственного быта. Порицают ее только немногие крайние «европеисты», которые не верят в возможность иной цивилизации, кроме германо-романской; да те землевладельцы, которые бы желали свергнуть крестьянина в нищету, чтобы он дешевле брал за работу и зависел бы от их воли, как зависит в Англии фабричный работник от произвола жестокого и грубого фабриканта.

Европейцы, чуя в нас для них что-то неведомое, приходят в ужас при виде этого грозного, как они говорят, «соединения самодержавия с коммунизмом», который на западе *есть кровавая революция, а у нас монархия и вера отцов.*

Другой пример – наш нигилизм. Нигилисты хотели бы, между прочим, чтобы Россия была «plus européenne que l'Europe» [5]. То, что дома Добролюбов, Писарев и другие облекали ловко в иносказательные, то легкие, то серьезные формы, Герцен из-за оград ан-

глийского «habeas corpus» проповедывал на весь мир.

Людям этим недоставало истинного понятия о национальности; им не претил европеизм, если он только проявлялся в революционной форме.

Даже Герцен, который гораздо выше по своему философскому воспитанию, чем были его доморощенные и молодые помощники (ибо он развился в 40-х годах), и тот долго восхвалял, например, французского работника, тогда как *хорошему* русскому – вид французского блузника с его заученными сентенциями и дерзкими ухватками должен быть крайне противен и скучен... Наконец и он, сам Герцен, разочаровался в европейском простолюдине; он понял, что ему, этому рабочему, хочется стать *средним буржуа* и *больше ничего*. Такой пошлости Герцен, человек изящно воспитанный и глубокий, – любить, конечно, не мог, но наши «домашние» отрицатели из разночинцев не были разборчивы.

Итак, что же могло быть опаснее подобного космополитического направления для нашей народной физиогномии?

И что же? В то время, когда в Петербурге издатели «Современника» восхищали страстную, но оторванную от народной почвы молодежь и изумляли даже весьма умных провинциалов, которые не могли постичь, за что они все бранят и чего им хочется; в то время, когда кроткий Михайлов печатал свои кровавые прокламации, советуя в них идти дальше французов времен террора, и Бога звал «мечтой», в Москве являлись «Парус», «День» и «Русская Беседа». — Славянофилы из «старинных» мечтателей обратились в людей-утешителей, в людей «положительного идеала» посреди этой всеобщей моды отрицания.

Славянофилы явились на защиту «народной святыни», на защиту церкви, общины, народных нравов и преданий. И множество людей помирились с их *мечтами* за некоторые практические их выводы.

В то же время Кохановская печатала свои прекрасные и пламенные повести; в них с неслыханной дотоле у нас смелостью и жаром изображались старинные русские нравы и не столько нравы простолюдина, сколько нравы деревенских дворян, по многому, одна-

ко, близких к национальной почве. Не был при этом забыт и простолюдин. Повесть «Кирило Петров и Настасия Дмитриева» (мещанин и мещанка) на веки украсила нашу словесность.

В этих повестях «европеизм» только выносился местами; ненависть к нему и дышала между строчками, и выражалась явно.

В самом Петербурге начал тогда же выходить журнал «Время», который шел в упор «Современнику». В нем, пожалуй, положительное направление было еще шире, чем у славянофилов; в нем участвовал критик, до сих пор у нас не оцененный как следует, Аполлон Григорьев. Придет время, конечно, когда поймут, что мы должны гордиться им более, чем Белинским, ибо если бы перевести Григорьева на один из западных языков и перевести Белинского, то, без сомнения, Григорьев иностранцам показался бы *более русским*, нежели Белинский, который был не что иное, как талантливый прилагатель европей-ских идей к нашей литературе.

Но «Время», хотя имело большой успех, только постепенно уясняло свою задачу и ско-

ро погубило себя одной умно написанной, но бестактно напечатанной статьей [6] . Нигилизм «Современника» пробудил в одних задремавшие воспоминания о церкви, столь родной семейным радостям детства и молодости; в других чувство государственное; в третьих ужас за семью и т. д. *Современник и нигилизм*, стремясь к крайней всегражданственности, насильно возвращали нас к «почве».

Наконец поднялась буря в Польше; полагая, что Россия потрясена Крымским поражением и крестьянским переворотом, надеясь на нигилистов и раскольников, поляки хотели посягнуть на целостность нашего государства.

Недовольствуясь мечтой о свободе собственно польской земли, они надеялись вырвать у нас Белоруссию и Украину... Вы знаете, что было! Вы знаете, какой гнев, какой крик негодования пронесся по всей России при чтении нот наших непрошенных наставников... Какой восторг приветствовал ответы князя Горчакова и адреса царю со всех концов Державы.

С тех пор все стали *несколько* более славя-

нофилы... Ученье это «в *раздробленном виде*» приобрело себе больше прежнего поклонников. И если в наше время трудно найти славянофилов совершенно строгих и полных, то и *грубых евронеистов* стало все-таки меньше, я думаю...

Вот к чему привела у нас общечеловеческая демагогия... Еще два примера. Земские учреждения наши, в частности, сами по себе довольно своеобразны; но все-таки общая идея их была к нам занесена с Запада и вызвана освобождением крестьян. Это приложение западной идеи к нашей жизни сблизило наше просвещенное сословие с простым народом: дворянство, оторванное от него эмансипацией, сошло с ним опять на основаниях более гуманных. Волей-неволей, встречаясь с крестьянами в собраниях, оно должно стать более русским не только по государственному патриотизму (в чем не было никогда у нас недостатка), но и вообще по духу и, Бог даст, по бытовым формам... [7]

Общество русское истекшего 25-летия везде, где только ему давали волю, ничего само-бытного и созидającego не сумело выду-

мать. – Ни в земстве, ни в судах, ни даже в печати!.. «Гнилой Запад» (*да! – гнилой!*) так и брызжет, так и смердит отовсюду, где только «интеллигенция» наша пробовала воцаряться! – Быть может «Земству» и предстоит будущность и даже многозначительная, но это, возможно, мне кажется, только при двух условиях во 1-х, чтобы распределение поземельной собственности приняло более органический (т. е. *принудительный*) вид, чтобы, с одной стороны, крестьянская (общинная) земля стала бы навеки *неотчуждаемою* и никогда на личные участки недробимою; – а с другой, чтобы и дворянское (личное) землевладение приняло бы тоже, при понуждающем действии законов, более *родовую и сословную форму*, т. е. чтобы *отчуждение из пределов рода и сословия* тоже все более и более затруднялось. Во 2-х, нужно, чтобы церковные школы исподволь совершенно бы вытеснили либерально-земские.

Суды наши уже, конечно, вовсе не своеобразны; они заимствованы целиком. Но в судах являются люди всех сословий и стран нашей великой отчизны, всякого воспитания;

в них рассматриваются и судятся всевозможные страсти, преступления, суеверия, и всякий согласится, что не всякое преступление низко и что многие суеверия трогательны и драгоценны для народа.

Образованный класс наш в судах изучает быт и страсти нашего народа. Он и здесь учится более понимать родное, хотя бы в грустных его проявлениях.

Вот любопытные образцы, взятые из газет:

#### 1. Дело раскольника Куртина

По словам владимирского корреспондента газеты *Голос*, в местной уголовной палате производилось дело о некоем Куртине, раскольнике Спасова согласия, *заклавшем родного сына своего в жертву...* Спасово согласие есть один из толков беспоповщинских и самых крайних. Он иначе называется *нетовщиною*, потому что раскольники этого толка учили и учат доселе, что нет ныне в мире ни православного священства, ни таинств, ни благодати и желающим содержать старую веру остается только прибегать к Спасу, который сам ведает, как спасти нас бедных. Раскольнику Спасова согласия не остается, та-

ким образом, ничего в жизни; эта безнадежность приводит фанатиков часто к самым ужасным результатам. Вот содержание истории детоубийства, совершенного Куртиным.

Вязниковского уезда, деревни Слабодищ, крестьянин спасовец Михаил Федоров Куртин (57 лет) зарезал родного сына своего, семилетнего мальчика, Григория, в убеждении, что это угодно Спасу. Подробности этого кровавого процесса ужасны, но в то же время очень естественны в спасовце. Вот как рассказывал сам Куртин на суде о своем детоубийстве: «Однажды ночью печаль моя о том, что все люди должны погибнуть в нынешние времена, сделалась так велика, что я не мог уснуть ни на минуту и несколько раз вставал с постели, затепливал свечи перед иконами и молился со слезами на коленях о своем спасении и спасении семейства своего. Тут мне пришла на ум мысль спасти сына своего от гибели вечной, и так как сын мой Григорий, единственное детище, был очень резов, весел и смышлен не по летам, то я, боясь, чтоб он после смерти моей не развратился в вере и не погиб навек в геене вечной, решил-

ся его зарезать. С этою мыслью я вышел на заре в задние ворота и стал молиться на восход, прося у Спаса знаменья, что если после молитвы придет мне снова мысль эта в голову с правой стороны, то я принесу сына в жертву Богу, а если слева, то нет, потому что, по мнению нашему, помысел с правой стороны есть мысль от ангела, а с левой – от дьявола. По окончании длинной молитвы помысел этот пришел с правой стороны, и я с веселием в душе возвратился в избу, где сын мой спал вместе с женою моею на коннике (род широкой лавки). Опасаясь препятствий со стороны жены, я нарочно разбудил ее и послал за овчинами в дер. Перво, а сам, оставшись с сыном, сказал ему: «Встань, Гришенька! Надень белую рубаху, я на тебя полюбуюсь». Сын надел белую рубаху и лег на лавку в передний угол. Куртин подложил ему его шубку в головы и, заворотив вдруг подол рубашки, нанес ему несколько ударов ножом в живот. Мальчик затрепетал и начал биться, так что постоянно натыкался на нож отца, отчего на животе его оказалось множество ран». Тогда отец, желая прекратить страдания сына разом, рас-

порол ему живот сверху донизу... Мальчик потерял силу сопротивляться, но не умер в тот же момент. Заря, занявшаяся на востоке, светила детоубийце в окно при совершении преступления; но когда сын был зарезан, то в окнах вдруг появились первые лучи восходящего солнца и багровым светом упали на лицо невинной жертвы. Куртин, по его словам, при этой случайности встрепенулся, руки его дрогнули, нож выпал из рук и он упал перед образом на колени с молитвою, прося Бога принять милостиво новую жертву. «Когда я, – говорил Куртин в суде, – стоял перед образом на коленях и сын мой плавал в крови, то вошла вдруг в избу возвратившаяся жена моя и, с первого взгляда узнав все случившееся, упала от страха на землю перед мертвым сыном. Тогда я, поднявшись с пола, на котором стоял на коленях, сказал жене: «Иди и объявляй обо всем старосте. Я сделал праздник святым».

Детоубийца Куртин, заключенный в острог, прежде решения дела уморил себя голодом...

## 2. Дело казака Кувайцева

Из Оренбурга (кор. «Голоса»). В одной из казацких станиц жил казак Войков; у него была жена-красавица. Стар ли был, некрасив ли Войков, но только полюбился ей другой казак, Кувайцев. Кувайцев был женат и имел детей, но жены своей он не любил, хотя она была женщина нестарая и работающая, женился он на ней *из жалости – сирота была круглая*; до встречи с женою Войкова они жили душа в душу. Раз войсковой старшина, проезжая через деревню, где жили Войков и Кувайцев, остановился у Войкова отдохнуть, старшине стало скучно; услужливый Войков, ничего не подозревавший о связи Кувайцева со своею женою, предложил позвать Кувайцева, который был известен в деревне за потешника. Позвали Кувайцева, выпили водочки, Кувайцев посмешил компанию, сказок насказал и затем разошлись. В эту же ночь у Войкова из чулана, припертого только чуть державшимся засовом, было похищено разное носильное платье, *большую часть принадлежавшее к гардеробу жены*. Кто украл, искали и не нашли. Вскоре после этого жена Войкова умерла. Скучен стал Кувайцев, не слышать его

лихих песен, не рядится он в шутовской костюм (г. докладчик показывал его публике; Бог знает что такое: тут и бархат, и золото, и кости, и все это перемешано самым затейливым образом) на потеху села; на жену и смотреть не хочет; только с детьми нежен, ласкает их.

Прошло много времени после этого, как вдруг Кувайцев, без всякой видимой причины, стал по-прежнему весел и песни запел. Утром как-то раз жена Кувайцева, перестилая постель, находит под тюфяком отрубленные человеческие палец и руку; тут же и клочок волос длинных и маленьких курчавых. Кожа руки высохла и набита была хлопком и разною дрянью. Она этот палец, руку и волосы представила в волостное правление. Началось дело. Кувайцева арестовали; сделали обыск в его доме и нашли те вещи, которые пропали у Войкова, кроме того нашли печать, на которой было вырезано «*Оренбургское полицейское управление*» и бумажку, на которой было написано (подлинное выражение докладчика) то же, что и на печати; нашли много разных книг, большею частью духовных

или же песенники.

При допросе Кувайцев, не отпираясь ни мало, показал: 1) что найденная рука, палец и волосы принадлежат умершей жене Войкова. Тыскали могилу, откопали и нашли труп Войковой, почти разложившийся, с отрубленной левою рукою и без пальца на правой; волосы с головы и других мест были обрезаны. На Войковой не нашли тех одежд, в которых она была похоронена.

– Зачем ты сделал это? – спрашивает Кувайцева судебный следователь.

– Зачем? Тоска меня мучила, покоя не знал я, свет Божий не мил стал – что было делать! Раз цыгане селом проходили; одна цыганка, видя мою кручину, взялась вылечить меня: «Ступай ты, – говорит, – на могилу к ней, отрой тело ее, отсеки левую руку и большой палец с правой и обрежь волосы. На утренней и на вечерней заре выходи ты в поле и отсеченною рукою ее обчерти около себя круг, пальцем ее с другой руки отчерти, а волосами в это время обкуривайся». Я поблагодарил цыганку и сделал, как она приказала. Ходил я три дня на зорях и на четвертый все как ру-

кой сняло. Разве иногда, и то редко, грусть  
прошибала.

— А одежду зачем снял с нее? Нужно заметить, что одежда была так плоха, что на нее не польстился бы и нищий.

— Так, для памяти – уж больно мила была мне Войкова-то.

— Ты украл у Войкова из чулана платье?

— Я вещей Войкова не воровал. Ссора у нас была раз с нею; она мне и говорит: возьми ты все, что подарил мне, не хочу я от тебя ничего и указала мне, что все это лежит в чулане. Я тоже был в сердцах на нее и, выходя от мужа-то ее, тронул запор у чулана, – он подался, я и забрал те вещи, которые я же подарил. Воровства, значит, здесь нет: свое взял.

— А как же у тебя очутились вещи не только жены Войкова, но и самого Войкова.

— Темно было тогда, я вещи-то брал, ну и торопился больно – впотьмах-то и захватил мужнины вещи.

— Что ты делал с печатью и каким образом она к тебе попала?

— Что это за печать и что с нею делать можно было, я не знаю, – нашел я ее в Оренбурге, вот и все.

Песенники, найденные у Кувайцева, почти все с поправками, прибавлениями и замечками, сделанными рукою Кувайцева; некоторые песни вовсе изменены, а другие местами. В поправках и изменениях видно грустное настроение Кувайцева. Председатель, докладывавший дело, прочел некоторые из этих поправок. На вопрос, зачем он делал эти поправки, Кувайцев отвечал, что слова песен часто не подходят под музыку, которую он сочинял на эти песни, ну он и изменял их. Находясь в тюрьме, Кувайцев писал письма к своим детям; письма эти писаны стихами:

*Мои милые орляточки,  
По отце своем стосковались и т д*

Во время своего заключения Кувайцев собирался бежать, для чего и приглашал, как видно из письма, отобранного у него в тюрьме, товарищей; бежать хотел он на Кавказ и говорил, что у него и оружие заготовлено под полом. Несколько ружейных стволов и порох действительно найдены в подполье. При повальном обыске о нем отозвались одни с пренебрежением, как шуте, другие сказали, что

он плохой работник и казак и что даже (?) он сам бабье дело делает, т. е. белье и платье себе шьет. Предложены на решение следующие вопросы: 1) Как смотреть на раскрытие могилы? Как на преступление или как на суеверное безумство? и т. д.

Конечно, никто не станет оспаривать у суда права карать поступки, подобные поступкам Куртина и Кувайцева. Но, по высокому выражению московских славянофилов, обыкновенный суд, точно так же, как и справедливая полицейская расправа, суть проявления лишь «*правды внешней*», и ни государственный суд, ни суд так называемого *общественного мнения*, ни полицейская расправа не исчерпывают безконечных прав личного духа, до глубины которого не всегда могут достигать общие правила законов и общие повальные мнения людей.

Судья обязан карать поступки, нарушающие общественный строй, но там только сильна и плодноросна жизнь, где почва своеобразна и глубока даже в незаконных своих произведениях. Куртин и Кувайцев могут быть героями поэмы более, чем самый чест-

ный и почетный судья, осудивший их вполне законно.

В Бельгии, Голландии, Швейцарии *порядка и благочиния*, быть может, более, чем в среде других более крупных политических единиц; в них невозможны, конечно, не только Куртины, но и Кувайцевы, но зато в Бельгии, Голландии и Швейцарии невозможны и великие своеобразные поэты, и если бы Бельгию и Швейцарию завоевала Франция, а Голландию – Германия, человечество могло бы почувствовать *лишь механическое* потрясение, но не ощутило бы ни малейшей духовной утраты. [8]

Характер трагического в жизни народа в высшей степени важен. Иной характер имеет трагическое в благородных ущельях Черногории и Крита, иной в Парижских и Петербургских «углах»!

Ужасно проявление веры в преступлении Куртина! Но ужасное или благотворное, все же это проявление веры, веры, против которой XIX век ведет холодную, правильную и беспощадную осаду! Куда обратится взор человека, полного ненависти к иным бездуш-

ным и сухим сторонам современного европейского прогресса? Куда, как не к России, где в среде православия еще возможны великие святители, подобные Филарету, и где самый раскол представляет не одни ужасные (хотя и трогательные в своем роде) явления, но и картины в высшей степени утешительные и почтенные, подобные следующей, взятой тоже из газеты:

### Духовный суд у молокан

В № 51 «Современных Известий» помещена интересная статья о наказаниях, существующих у молокан за дурное обращение мужей с женами; приводим из этой статьи следующий рассказ: когда муж оскорбит жену своим словом или ударит хотя слегка в горячах, то жена в первое же воскресенье, – если муж до сего времени не испросит у ней прощения, – заявляет о сем при молитвенном воскресном богослужении совету, состоящему из лиц самой глубокой древности, старше которых нет на селе, которые публично, *судотворением* после богослужения разбирают обиду и на основании Библии решают этот вопрос безапелляционно. При этом, если муж и жена не заяв-

ляют о разводе, они налагают на виновного наказание церковное (гражданских наказаний у них не существует). Лестница этих церковных наказаний довольно длинная. Виды наказаний, между прочим, следующие: 1) торжественное извинение обидчика перед обиженным; 2) пост на 10, 20, 30, 40 дней и на год; 3) раздаяние милостыни бедным; 4) вклад на обеспечение вдов и сирот околотка; 5) покаяние при богослужении пред собранием; 6) отлучение от участия при общественном богослужении в продолжение недели, месяца, полугода и года (это наказание полагается за тяжкие вины); 7) присутствие при богослужении общественном, но с обязанностью стоять, обратясь в угол, к стене; 8) лишение права на братское приветствие на улице при встречах; 9) лишение права петь при богослужении и читать Библию и т. п. – Нам удалось быть при одном общественном богослужении молокан и слышать разбирательство жалобы молоканки на мужа, который обозвал ее словом бранным (бранное слово вообще у молокан редкость); разбирательство производил церковный совет публично, пред 300–400 че-

ловек, пришедших на богослужение, состоявший из убеленных сединами старцев, из коих некоторым было за 100 лет. По выслушании жалобы тотчас развернута была Библия (огромного формата, известная у нас под именем параллельной) и из нее прочитаны тексты об отношениях мужа к жене и жены к мужу. «Муж, – читал седой как лунь член церковного совета, – отдавай жене должное, подобно и жена мужу; жена не властна над своим телом, а муж; равно и муж не властен над своим телом, а жена. Внемлите сему, – взывал старик, – не свои словеса говорю вам, а словеса Библии, вечные и неизменные». Жены, дочери, парни, дети, бывшие при богослужении, слушали внимательно слово наставления, произносимое старцем, коему было за плечами 96 лет. «Худое обращение мужа с женой легко может повести жену к нарушению брачного союза, – говорил другой член совета, такой же, как и первый, – и тогда хотя жена не будет без вины пред Господом Богом, но муж сам *первый* дает ответ пред Господом Богом за грехи жены, ибо ему было повелено любить жену свою, как Христос возлюбил

церковь, а Христос самого себя предал за нее, чтобы освятить ее, очистить и представить ее себе славною церковью, не имеющею пятна или порока... А ты не только не исполняешь заповедей Бога, но и вводишь жену во искушение. Не помилует тебя Господь! Покайся по-христиански и спроси у жены твоей прощение! Утешь нас и не посрами наше общество истинных христиан, которого ты сделался недостойным!»

Признаемся, мы были поражены этой сценической разбирательством мужа и жены, а когда муж обнялся с женою, поцеловал ее публично, в виду всего собрания, и испросил у нее прощение в своей вине, собрание запело благодарственный Богу гимн, то были тронуты не шутя. При подробных расспросах мы узнали, что ссоры мужа и жены у молокан до того редки, что некоторые, прожившие весь век свой, не сказали друг другу бранного слова.

Согласитесь, что как в 1-й трагической картине, так и во 2-й, трагикомической и грустной, и в последней утешительной, нет ничего избитого и пошлого. И в той, и другой, и третьей слышится что-то новое и неслыханное,

чувствуется присутствие нетронутых и самородных сил...

Наконец еще один и последний пример. Что может быть более всегражданственного, как всемирная промышленная выставка?

Однако, что мы видим?

Русская изба, ее кружевные убранства, созданные простым топором мужика, привлекли внимание иностранцев; все хвалят одежду русскую, которую, конечно, для выставки постарались показать лицом (а это-то и *есть развитие своего*; не в том дело, чтобы быть *просто-народным*, а в том, чтобы быть *народным!*).

Русский трактир Корещенка был всегда полон, русская кухня всем понравилась. Еще небольшой пример того, что я зову народным творчеством, развитием своего; у нас в трактирах нет обычая держать за конторками женщин... Это обычай европейский. Чтобы картина русская была полнее, чтобы привлечь в трактир еще более иностранцев, г. Корещенко принял этот чуждый обычай; но красавица его была не в кринолине и чепчике; она была в сарафане и кокошнике.

Национальное своеобразие не может держаться одним охранением; обстоятельства вынуждают нередко принимать отчасти что-нибудь чужое для полного развития своего народного в высшее национальное.

После всемирной выставки появилась в России, между прочим, мода на разную деревянную утварь расписанную золотом и красной краской. К сожалению, надо заметить, что мода эта принялась оттого, что *иностранцам* понравилась на выставке эта русская утварь; самим бы нашим и в голову не пришло полюбить эти мужицкие миски. Жалко это видеть, но что же делать? В широких государственных, промышленных и вообще национальных вопросах нельзя брать в расчет одни избранные души; надо брать в расчет большинство людей, и потому надо радоваться всякому средству, хотя бы и мелкому, но наводящему на добрый путь.

Понятна заботливость правительства и хлопоты общества о новых таможенных уставах и, вообще, понятно желание определить, что выгоднее той или другой нации: свобода ли ввоза или покровительственная и запре-

тительная система. Но все подобные вопросы принимают иной вид, как *только подумаешь, что было бы, если бы вкусы и потребности самого общества изменились!*

*Наклонности потребителя, его выбор, его вкус – вот основа всего.* Оставляя в стороне вопросы о том, что выгодно и невыгодно для производителей, о внешнегосударственных условиях, при коих они своей деятельностью могут обогащать страну, любопытно и плодотворно было бы не только научно рассмотреть историю развития национальных вкусов и мод, но и вести особую пропаганду для утверждения самобытных вкусов у славян, столь падких на чужое.

Возьмем пример из соседней страны. В Турции и христиане, и мусульмане, и евреи носят фески. Вследствие дурных распоряжений турецкого правительства большинство фесок ввозится из Австрии, вместо того чтобы производиться в самой Турции. Я слышал много жалоб на это. Но положим, что турецкое правительство распорядилось бы иначе, и все фески, потребляемые турками и христианами, делались бы в Турции; фабрики фесок

достигли бы высокой степени богатства, и деньги были бы в руках турецких подданных. Но если бы в то же самое время христиане, движимые ненавистью ко всему, что им напоминает Восток и рабство, *и по слабому развитию в них чувства изящного сбросили бы этот головной убор* [9], и если бы в то же время молодое поколение влиятельных турок надело бы безобразный европейский цилиндр, дабы блеснуть свободолобием и европеизмом, – что бы случилось с фабриками и к чему привели бы все правительственные меры?.. Теперь хоть часть фесок делается в Турции, а тогда бы никто не делал их, и еще бы одним своеобразным предметом стало меньше на свете...

От развития *народного вкуса* в высшем русском обществе, которое везде славится тонкостью своего *общечеловеческого* вкуса, зависит будущность не только русской, но, вероятно, и всей славянской промышленности.

Теперь, когда мы на ясных примерах показали, что с 1856 года и до сих пор все, что, казалось, должно бы нас приблизить к Западной Европе, отдаляло нас от нее и служило к большому нашему обращению внутрь себя самих, мы можем сказать, что всеми этими результатами мы обязаны нашему простому великорусскому народу и, до известной степени, *его безграмотности*.

Удаленный от высшего сословия, несколько не сходный с ним ни в обычаях, ни в одежде, ни в интересах, страдавший нередко от самовластия помещиков и неправосудия чиновных властей, народ наш встречался с европеизированным дворянином как соотечественником, только на поле битвы и в православной церкви.

Нравы дворянства и чиновничества смягчались постепенно под влиянием идей (конечно гуманных), выработанных западным просвещением; уже задолго до 1861 года обращение с низшими стало лучше; но оно еще было недостаточно хорошо, и зависимость

была еще слишком велика, чтобы народ мог чувствовать себя не чуждым этому европейскому фрако-сюртучному миру, прощать ему его иноземные формы.

Жалок тот историк, который не умеет видеть, что в бесконечной сложности и глубине всемирной жизни известное зло нередко глубокими корнями связано с известным добром!

Разъединение сословий в России было велико; вражды систематической, положим, между ними не было; но, повторяю, разъединение их было так велико, что Белинский (в 1847 или 1846 г., в Петербургском Сборнике) выражался, насколько помню, так: — «если у нас собрать в одну комнату художника, купца, писателя, чиновника, военного и светского человека, то они не найдут, о чем между собой говорить».

Если такое отчуждение существовало не только между теми слоями народа, которые были определены в нашем Своде «Законами о Состояниях», но и между людьми одного состояния (напр., чиновником и художником, чиновником-дворянином и военным-дворя-

нином), то на каком же отдалении должны были стоять друг от друга, например, земледелец и знатный петербургский бюрократ?

Нет спора, Церковь и Государство и, отчасти, помещичье право, заставлявшее многих дворян жить в деревне, поддерживали связь, но эта связь в обыденной жизни была не так заметна, как отчуждение.

Что это происходило не от одной разницы прав и не от одного преобладания сильных над слабыми, на это доказательств много. Купец первой гильдии и миллионер, конечно, имели больше, по крайней мере, *фактических* прав сравнительно со своим рабочим, чем какой-нибудь бедный чиновник или учитель-дворянин. Однако народ на купца, который *не носил фрака, содержал посты и строил церкви, смотрел более как на своего человека*, чем на такого чиновника или учителя, какие бы добрые и честные и бедные люди они ни были. Здесь не было, как в новой Франции, антагонизма между бедностью и богатством (и не могло быть по самой сложности нашего прежнего устройства); здесь был антагонизм между *европеизмом и народ-*

ностью.

Гуманность тут не помогала. Гоголь, Тургенев и другие верно изображали, как холодно принимал наш народ неловкое добродушие европеизированных дворян-прогрессистов.

Солдаты и те нередко звали «бабой» и не любили начальника мягкого и предпочитали ему «молодца» сурового, грубого, но в приемах, в речах, в обычаях которого дышало русское начало.

Итак, если не брать в расчет переходные оттенки, а одни резкие крайности, то вообще можно было разделить русское общество на две половины: одну народную, которая ничего кроме своего русского не знала, и другую космополитическую, которая своего русского почти вовсе не знала.

Это зло (если только неравенство прав есть зло) при помощи наших нынешних преобразований принесло бесценные плоды, и мы теперь можем обратиться к нему с исторической благодарностью.

Законное отделение «Состояний» и бытовое различие слоев внесло в нашу слишком простую и несложную славяно-русскую

жизнь ту сложность и то разнообразие, без которых невозможно *цивилизованное*, т. е. *развитое своеобразие*, без которых не мыслима полная и широкая жизнь, достойная великого народа.

Истина этой последней моей мысли доказывается историей как нельзя поразительнее. Как бы ни были в подробностях своего строя и своей жизни различны друг от друга древний Египет, древняя Греция и Рим, *прежняя* Франция, *прежняя* Германия и Англия, Италия средних веков, мусульманские государства, достойные внимания историка, – все они имели одну общую черту: они были сложны, и в национальных пределах их кипело более или менее глубокое разнообразие.

Сверх этого вообще необходимого для истинной цивилизации условия, *прежнее* словное отдаление сознательной части нашего общества от наивной его части принесло ту пользу, что сохранило простой народ в большой неприкосновенности.

Считая дворян и чиновников почти не русскими за их иноземные формы, народ и не думал подражать им и, упорно сохраняя свое,

глядел на нас нередко с презрением.

Европеизм Петра Великого, Екатерины II и Александра 1-го утончил нервы России; народ в удалении своем сохранил нам то полносочие, которым мы можем изумить весь мир, если сумеем им воспользоваться.

Сначала, в Московский период нашей истории, нам мешали развиваться излишняя простота и однообразие нашей жизни и недостаток общей сознательности. Потом, в тот период (до 1856 года), который можно назвать чисто Петербургским, нам по-своему мешало развиваться излишнее разъединение, несходство людей между собою. Только теперь, когда различные слои нашего общества еще хранят свою физиономию, а стены, начавшие уже под конец бесплодно теснить их, рушились по мановению Державной руки, мы можем выработать с течением времени что-либо *мировое свое*.

Европеизированная часть нашего народа уже усвоила себе все высшие (философские) и низшие (временно-практические) плоды всемирного сознания, а народ еще хранит в столь многом свято свое родное (как бы грубо

оно ни было, это не беда), и облечение общих идей в родные формы может принести и уже во многом принесло богатую жатву.

Эти общие идеи, какого бы они ни были порядка: философского, художественно-творческого или просто жизненно-практического, проходя сквозь народные, местные формы, могут приобрести ту степень новизны и оригинальности, которая со временем может обновить несомненно стареющий мир.

Тот народ наилучше служит и всемирной цивилизации, который свое национальное доводит до высших пределов развития; ибо одними и теми же идеями, как бы не казались они современникам хорошими и спасительными, человечество постоянно жить не может.

## IV

Я скажу заблаговременно мое общее заключение; ибо я знаю, что взгляд мой на это так уклоняется от принимаемых ныне более или менее всеми взглядов, и любовь к смелости и своеобразию мысли так остыла в наше время, что я боюсь заставлять ждать читателей до конца.

Мое общее заключение не безусловное против грамотности, а против *поспешного* и тем более против *обязательного* обучения. И это я говорю не с точки зрения *свободы*; *развитие* не всегда сопутствует *свободе* [10], – а с точки зрения народного своеобразия, без которого, по-моему, великому народу не стоит и жить.

Надобно, чтобы образованная часть русского народа (так называемое общество) приступила бы к просвещению необразованной части его только тогда, когда она сама (т. е. образованная часть) будет зрелее. Обязательная грамотность у нас тогда только принесет хорошие плоды, когда помещики, чиновники, учителя, т. е. люди *англо-французского*

воспитания сделаются все еще гораздо более славянофилами, нежели они сделались под влиянием нигилизма, польского мятежа и европейской злобы. Если так – то как уже я сказал в начале статьи, что мы все стали несколько более славянофилы, чем прежде? Да, я сказал: – *несколько более*; но это еще очень мало, это ничтожно в сравнении с тем, что могло бы быть.

Чистых, строгих славянофилов, в которых были бы совокуплены все элементы, составляющие полную картину московского славянофильства, у нас очень мало; но нет сомнения, что учение это в *раздробленном виде* сделало у нас значительные успехи в последние 10 лет.

Но этого недостаточно. Если и в раздробленном виде славянизм или руссизм несколько более прежнего разлились по нашему обществу, то это, как уже выше было доказано, благодаря тому, что *корни у нас свои*. Если же недоросшее до полного руссизма общество примется *менять некстати* самые корни эти, то уже тогда «бесцветная вода» всемирного сознания будет поливать не национальные

всходы, а космополитические, и Россия будет столько же отличаться от других европейских государств, насколько, напр., Голландия отличается от Бельгии. Но мы желали бы, чтобы Россия от всей Западной Европы отличалась на столько, на сколько греко-римский мир отличался от азиатских и африканских государств древней истории или наоборот.

Самый успех «Дня», «Русской Беседы», «Времени», «Эпохи» и «Якоря» сравнительно с другими более космополитическими изданиями доказал, между прочим, что даже и теоретически наше общество еще не доросло до настоящего руссизма, не говоря уже о практических его приемах. Надо, чтобы за народ умели взяться; *надо, чтобы нам не испортили эту роскошную почву, прикасаясь к которой мы сами всякий раз чувствуем в себе новые силы.*

У нас уже были поразительные примеры из другого разряда дел подтверждения моего мнения. Если не ошибаюсь, в «Дне» было раз замечено, что крепостное право хотя и было великое зло, но чтобы быть исторически справедливым, нужно прибавить, что оно по-

служило для крестьянской общины «предохранительным колпаком от посягательства просвещенной бюрократии».

Действительно, значительная часть помещиков была, лет 50–60 тому назад, немногим ученее собственных крепостных; другая думала лишь об увеселениях и военной службе; третья, более солидная, о практических пользах своих. На ту часть земли, которая по указу 1861 года досталась ныне крестьянской общине, всякий из дворян смотрел как на свою неотъемлемую собственность и никому, конечно, не было и нужды раздавать крестьянам участки в личное владение.

Случись тогда разрешение крестьянского вопроса, народ наш или был бы свободным пролетарием, или владел бы мелкой собственностью, которая быстро стала бы переходить в руки ловких людей, особенно при некоторых кочевых наклонностях русского селянина. (Впрочем, эти кочевые наклонности ему до сих пор очень полезны в других отношениях.)

В то время государственные люди наши еще не выучились искать спасения в чем-ли-

бо *незападном*; высшее общество стыдилось всего своего; славянофилов еще не было; не писали Хомяков, Аксаковы, Киреевский. Нигилистов также еще не было; а нигилисты, помимо косвенной неоцененной пользы, которую они принесли, возбуждив против своего крайнего космополитизма государственное и национальное воздействие, принесли еще и прямую пользу, поддерживая учреждение земской общины; конечно, они ожидали не того, что случилось; все почти они были люди очень молодые и в практической жизни неопытные; они спешили только опередить коммунизмом Европу на пути ее же мечтаний; они не предвидели, что земская община будет у нас в высшей степени охранительным началом и предупредит развитие буйного пролетариата; ибо в ней некоторого рода коммунизм существует уже «*de facto*», а не в виде идеала, к которому следует рваться, ломая преграды.

На самом Западе тогда еще толков о социализме, о нищете рабочих не было так много; не было еще страха *экономических революций*.

Теперь же, когда в 1861 году был издан указ об освобождении крестьян, общество наше было зрелее, и этот переворот совершился на мудрых основаниях, изучение которых только более заставляет удивляться глубине и широте задуманного и исполненного плана. Итак, в 1861 году общество наше было зрело для эмансипации, но для обучения народа, повторяю, мне кажется, оно еще недостаточно подготовлено; – как-то страшно поручить ему святыню народного духа, страшно дать ему волю обрабатывать самую почву нашу, изменять самые корни наши.

Говоря «общество», я не разумею только людей независимых, не служащих, не противопоставляю «общество» «государству»: я говорю и об учителях-чиновниках, или, лучше сказать, о целой системе учения, будет ли это обучение в руках вольных воскресных школ или в руках учителей, содержимых казною. Если бы дело шло только о том, чтобы обучить людей географии или арифметике, или о том, чтобы поддерживать в них общие понятия моральности, честности и т. п., то, конечно, все русское общество служащее и неслу-

жащее зрело для этого.

Если бы даже дело шло только об общеевропейском прогрессе, то нет наивысших его проявлений, которые нам не были бы доступны и легки в виде простого подражания. Но тут дело идет о предмете, который для нас, славян, должен быть если не дороже, то по крайней мере не дешевле общей нравственности и общей науки. И зачем робкие уступки! Предмет этот – национальное своеобразие, без которого можно быть большим, огромным государством, но нельзя быть великой нацией. Предмет этот должен быть нам дороже всего... Почему же? А потому, что общая нравственность и общая наука не уйдут от нас; а национальное своеобразие легко может уйти у славян в XIX веке! Здесь не место доказывать, почему национальное своеобразие может быть не только *средством*, но и *целью само себе*; это повлекло бы нас далеко.

К тому же я уверен, что многие поймут меня теперь и с полуслова.

Тех же, которые не согласятся, что *национальность* может быть, а у славян и *должна*

*быть пока сама себе целью, я попрошу согласиться хотя с тем, что грамотность уже сама себе целью никак не может быть...*

Всякий согласится, что она есть лишь средство. Все сторонники грамотности смотрят на нее с этой точки зрения. Одни надеются укрепить в народе чувство религиозное и нравственное; надеются сделать народ более мягким в домашних нравах его, более благочинным и добропорядочным; другие, напротив, под разными благовидными предлогами имеют в виду рано или поздно всучить простолудину Бюхнера или революционные книги.

Но никто не довольствуется тою мыслью, что народ будет уметь читать и писать и знать четыре правила арифметики.

Сражение при Садове, где грамотные прусские солдаты разбили менее грамотных австрийских солдат, дало новое орудие в руки защитников грамотности «à tout prix» [11].

Конечно, поклонники реализма, которым особенно хотелось бы объевропеить наш народ, радуются этому примеру больше других; – но они забывают одно из основных правил науки весьма реальной – медицины, ко-

торая говорит: «post hoc» не значит «propter hoc». Битва двух больших армий есть явление такое громадное и сложное; – здесь в течение нескольких часов решаются исторические судьбы двух государств или народов, и если последствия таких битв неисчислимы, то и причины их, конечно, очень сложны. Никто не станет отрицать, что талант генерала, способ вооружения, усталость или свежесть и сытость грамотных или безграмотных солдат, позиция, наконец, самые ничтожные случайные причины решают судьбу битв. Известно, что мы в Крыму проиграли сражение при Черной речке от пустых недоразумений между начальниками; под Ватерлоо растолстевший Наполеон оказался более нерешительным и медленным, чем сухой Блюхер; и самая битва при Садове имела бы, вероятно, иной исход, если бы вторая прусская армия не подоспела около полудня. Все это известно и ясно; но *газетная* публицистика думает о целях, а не об истине – это ее неизбежный порок; видеть можно по разным сторонам в одно время, – но идти и вести других можно только в одну сторону, – одна же сторона ни-

когда не исчерпывает предмета.

Итак, военный вопрос не решает в пользу грамотности.

Посмотрим, что скажет вопрос о нравственности и домашнем благочинии, о трудолюбии и т. п. вещах. Нет спора, наш великоросс по природе «вивер». – Пламенная религиозность его сочетается, как у итальянца, нередко с большим женолюбием и любовью к кутежу. (В характере русского простолюдина есть нечто до сих пор для нас самих неуловимое и необъяснимое, нечто крайне сложное, заставившее, напр., Тургенева сказать в одном из своих романов: «русский мужик есть тот таинственный незнакомец, о котором говорит г-жа Радклиф».)

Как бы то ни было, православный и безграмотный русский земледелец любит «жить», как парижский грамотный работник; а православный и безграмотный болгарин обстоятелен, экономен и аккуратен, как грамотный немецкий крестьянин. Безграмотный русский крестьянин охотно почитает власти, подобно грамотному старому духу немцу и безграмотному болгарину [12] . А грек, и го-

родской и деревенский, и грамотный и неграмотный, одинаково сдерживается с трудом, подобно городскому французу.

В Добрудже недавно умерли двое стариков – один сельский болгарин; другой – тульчинский рыбак старообрядец. Оба были в высшей степени замечательны как представители: один – узкой болгарской, другой – широкой великорусской натуры. К несчастью, я забыл их имена; но если бы кто-нибудь усомнился в истине моих слов, то я мог бы сейчас же навести справки и представить самые имена этих своеобразных славян. Оба были для простолюдинов очень богаты. Болгарину было под 80 или даже под 90 лет. Он безвыездно жил в своем селении. Работал сам без усталости; при нем жила огромная семья его. У него было несколько сыновей: все женаты, конечно, с детьми и внуками; старшие из сыновей сами уже были седые старики; но и эти седые старики повиновались отцу, как дети. Ни одного пиастра, заработанного ими, не смели они скрыть от своего патриарха или израсходовать без спроса. Денег было в семье много; большая часть зарывалась в землю, чтобы не

добрались до них турецкие чиновники. Несмотря на всю зажиточность свою, огромная семья эта по будням питалась только луком и черным хлебом, а баранину ела по праздникам.

Старообрядец наш жил иначе; он был бездетен, но у него был семейный брат. Брат этот постоянно жаловался, что старик дарит и помогает ему мало; но старообрядец предпочитал *товарищей родне*.

У него была большая рыбацья артель. К зиме рыбная ловля кончалась и огромные заработки свои старый великоросс распределял по-своему. Рассчитывал рыбаков, отпускал тех, кто не хотел с ним остаться; давал что-нибудь брату; закупал провизию, водки и вина на целую артель и содержал всю молодежь, которая оставалась при нем на всю зиму *без обязательной работы*. С товарищами этими здоровый старик кутил и веселился до весны, проживал все деньги и снова весной принимался с ними за труд. Так провел он всю свою долгую жизнь, возражая на жалобы брата, что «*он любит своих ребят*!» Часто видели старого рыбака в хохлацком квартале

Тулъчи; он садился посреди улицы на земле, обставлял себя вином и лакомствами и восклицал:

– Хохлушки! идите веселить меня!

Молодые малороссиянки, которые хотя и строже нравами своих северных соотечественниц, но пошутить и повеселиться любят, сбегались к седому «коммунисту», пели и плясали около него, и целовали щеки, которые он им подставлял.

Все это, заметим кстати (и весьма кстати!),  
Вне мешало ему быть строгим исполните-  
лем своего церковного устава.

Любопытно также прибавить, что про ры-  
бака старообрядца мне с восторгом рассказы-  
вал старый польский шляхтич, эмигрант 36-  
го года; а про скупого хлебопашца болгарина  
с уважением говорил грек-купец.

И греки, и болгары по духу домашней жиз-  
ни своей одинаково *буржуа*, одинаково рас-  
положены к тому, что сами же немцы обозва-  
ли филистерством.

Тогда как размашистые рыцарские вкусы  
польского шляхтича ближе подходят к каза-  
чьей ширине великоросса.

Я не хочу этим унизить болгар и через ме-  
ру возвысить великороссов. Я скажу только,  
что болгары, даже «коренные» – сельские по  
духу своему, менее своеобразны, чем простые  
великороссы. Они более последних похожи  
на *всяких других* солидных селян.

Серьезные и скромные качества, отличаю-  
щие болгарский народ, могут доставить ему  
прекрасную в своем роде роль в славянском  
мире, столь разнообразном и богатом форма-

ми.

Но «творческий» гений (особенно в наше столь неблагоприятное для творчества время) может сойти на главу только такого народа, который и разнохарактерен в самых недрах своих и во всецелости наиболее на других не похож. Таков именно наш великорусский великий и чудный океан!

Быть может, мне бы возразил кто-нибудь, что русские (и особенно настоящие москали) именно вследствие того, что они разгульны и слишком расположены быть «питерщиками», мало расположены к капитализации, а капитализация нужна.

На это я приведу два примера: один из Малороссии, другой из великорусской среды:

В «Биржевых Ведомостях» рассказывают следующее происшествие, бывшее недавно в Полтаве. В тамошнее казначейство явились одетые по-простонародному крестьяне – муж и жена У обоих полы отдулись от какой-то ноши. Муж обратился к чиновнику с вопросом: можно ли ему обменять кредитные билеты старого образца на новые?

– А сколько их у тебя? – спрашивает чинов-

НИК.

– Як вам сказать?., право, я и сам не знаю.

Чиновник улыбнулся.

– Три, пять, десять рублей? – спрашивает он.

– Да нет, больше. Мы с женою целый день считали да не сосчитали...

При этом из-под полы оба показали кипы ассигнаций. Естественно явилось подозрение относительно приобретения владельцами такой суммы. Их задержали и сочли деньги: оказалось 86 тысяч.

– Откуда у вас деньги?

– Прадед складывал, складывал дед и мы складывали, – было ответом.

По произведенному дознанию, подозрения на них не оправдались и крестьянину обменяли деньги. Тогда они вновь являются в казначейство.

– А золото меняете, добродию?

– Меняем. Сколько его у вас?

– Коробочки две...

Живут эти крестьяне в простой хате и неграмотны».

Но скажут мне: «это очень не хорошо»; на-

до, чтобы деньги не лежали, как у этого хохла или у старого болгарского патриарха, надо, чтобы они шли в оборот. Когда бы эти люди были грамотны, они поняли бы свою ошибку.

Но в ответ на эти слова я возьму в руки новый факт и стукну им тех бедных русских, которые не в силах мне сочувствовать.

В Тульче живет и теперь один старообрядец Филипп Наумов. Он грамоты не знает; умеет писать только цифры для своих счетов. Он не только сам не курит и не пьет чая и носит рубашку навыпуск, но до того тверд в своем уставе, что, бывая часто в трактирах и кофейнях для угощения людей разных вер и наций, заключающих с ним торговые сделки, он, угощая их, не прикасается сам ни к чему. Даже вина и водки, которые старообрядством не преследуются, он никогда не пьет. Он не любит никого приглашать к себе, ибо, пригласив, надо угощать, а угостив, надо разбить, выбросить или продать посуду, оскверненную иноверцами (хотя бы и православными). Он имеет несколько сот тысяч пиастров капитала *в постоянном обороте*, несколько домов; из них один большой на берегу Дуная от-

дается постоянно внаём людям со средствами: консулам, агентам торговых компаний и т. п. Сам он с семьей своей, с красавицей женой и красавицей дочерью и сыном, живет в небольшом домике с воротами русского фасона и украсил премило и преоригинально белые стены этого дома *широкой синей с коричневым шахматной полосой на половине высоты.* /

Он очень честен и, несмотря на суровость своего религиозного удаления от иноверцев, слывет добрым человеком. По многим сделкам своим он расписок не дает; постояльцы, когда платят ему за дом, не требуют с него расписки в получении – *ему верят и так.* Сверх всего этого, он *один из первых* в Тульче (где столько предприимчивых разноплеменных людей) задумал выписать из Англии *паровую машину* для большой мукомольной мельницы и, вероятно, богатство его после этого утроится, если дело это кончится успешно.

Один весьма ученый, образованный и во всех отношениях достойный далмат, чиновник австрийской службы, с которым я был

знаком, всегда с изумлением и удовольствием смотрел на Ф. Наумова.

– Мне нравится в этом человеке то (говорил мне австриец), что он при всем богатстве своем ничуть не желает стать буржуа; но остается казаком или крестьянином. Вот и эта черта великорусская.

Болгарин или грек, как завел бакалейную или галантерейную лавочку и выучился грамоте, так сейчас и снял восточную одежду (всегда или величавую, или изящную), купил у жида на углу неуклюжий сюртук и панталоны такого фасона, какого никогда и не носили в Европе, и в дешевом галстуке (а то и без галстука) с грязными ногтями пошел себе делать с тяжелой супругой своей визиты à l'euro péenne, европейские визиты, в которых блеск разговора состоит в следующем: «Как ваше здоровье? – Очень хорошо! – А ваше как здоровье? – Очень хорошо! – А ваше? – Благодарю вас. – Что вы поделываете? – Кланяюсь вам. – А вы что поделываете? – Кланяюсь вам. – А супруга ваша, что делает? – Кланяется вам».

Нет! Великоросс может все, что может дру-

гой славянин; но он сверх того способен на многое, на что ни другой славянин, ни грек или француз, и др. европейцы не способны!

Возьмем хоть опять того гуляку-старообрядца, о котором я говорил в начале этого примечания. Болгарин или серб если склонен к сластолюбию и женолюбию, то из него скорее выйдет лицемер вроде «Jacques Ferrand» в Парижских Тайнах, чем «Лихач Кудрявич» Кольцова.

Я с ужасом слышал на Востоке от 18–20-летних, едва обученных грамоте мальчиков, такие слова:

– Надо есть дома постное для слуг и *простого народа*; а потихоньку от них отчего же не есть скоромное. Какой же образованный человек может выносить постное кушанье? Это в пору желудку рабочего человека!

На Востоке в грамотном сословии нет *идеализма ни личного, ни религиозного, ни философского, ни поэтического*.

Развить и возобновить его на Востоке могут только русские, когда у них самих пройдет нынешнее утилитарное одурение!

Итак, судя по этим кратким и спешно из-

ложенным примерам и по множеству других, можно сказать, что грамотность сопутствует всевозможным нравственным качествам как из круга семейной, так и государственной жизни. Теперь обратимся к уму.

Неужели мы смешаем грамотность с развитием ума и талантов?

Кто же это сделает? Грамотность может отчасти способствовать их развитию, как и развитию нравственных свойств; но этому развитию способствуют и тысячи других обстоятельств помимо грамотности.

Русский мужик *очень развит*, особенно в некоторых губерниях. Он умен, тонок, предприимчив; в нем много поэтического и музыкального чувства; местами он неопрятен, но местами очень чист и всегда молодец. Он умеет изворачиваться в таких обстоятельствах, в которых растеряются грамотные, но тупые французские или немецкие поселяне.

Герцену надо отдать при этом случае справедливость, он тоже говорил про русского мужика: «он не образован, но он развит».

Почему же, за немногими исключениями, у нас люди почти всех учений нередко и бес-

сознательно с любовью обращаются к нашему простолюдину? Неужели только из демократической гуманности? Нет, здесь есть другое... Всякий член, оторванный быстрым и сначала насильственным европейским воспитанием нашего общества, понимает, что в нашем простом народе отчасти скрыт, отчасти уже ясен наш *национальный характер*.

И действительно, в гармоническом сочетании наших сознательных начал с нашими стихийными, простонародными началами лежит спасение нашего народного своеобразия. *Принимая европейское, надо употреблять все усилия, чтобы перерабатывать его в себе так, как перерабатывает пчела сок цветов в несуществующий вне тела ее воск.*

Для всякой живой цивилизации столько же необходимы начала наивные, как и сознательные. Без наивных элементов жизни разве возможны были бы Кольцов и Шевченко? В области чистой логики и математики нет ничего национального и поэтому ничего живого; живое сложно и туманно.

Сложные обстоятельства в жизни великих народов, неподдающиеся чистому расчету,

разнообразии страстей, степени родов воспитания влияют не только на развитие живых и полных характеров в самой жизни, но и на искусство и на мышление и даже на науку В одном из наших русских журналов (кажется во «Времени») было сказано, что все произведения искусства и мысли, которые приобрели мировое значение, потому именно и стали мировыми, что они были *в высшей степени национальны*.

Поэтому здесь следует такой род доводов:

Если мы допустим, что великому народу не стоит жить только в виде *большого государства* и что ему должно иметь хотя сколько-нибудь *свою культуру*, то из этого будет ясно, *что надо самой жизни быть своеобразной*.

Если же жизнь должна быть своеобразна, а своеобразие сохранилось в нашем народе лучше, чем в нашем высшем и ученом обществе, то надо дорожить этим своеобразием и не обращаться с ним торопливо, дабы не погубить своей исторической физиономии, не утратить исторических прав на жизнь и духовный перевес над другими.

Итак, мы возвратились к тому, откуда по-

шли.

Я думаю, что *даже и теперь* усердствовать с просвещением народа à l'euroéenne вовсе нет нужды.

## Примечания

1

В 68-м году я имел еще право называть греков «нашими политическими друзьями». Это было, может быть, лучшее время в истории новейших сношений наших с греками (этими главными и самыми сильными представителями православия на Востоке). В то время еще не кончилось геройское восстание критян, и брак Короля Георгия с русской Великой княжною считался тогда наилучшим выражением вековых греко-российских симпатий и залогом крепкого союза в будущем. Легкомысленная демагогия афинских политиков, с одной стороны, а с другой – простодушное потворство нашего общества болгарскому либеральному и *антицерковному* движению испортили все дело, если не в конец, то надолго. Правда – рано или поздно мы и без того столкнулись бы с греками за обладание Босфором. Но тут *есть из-за чего!* *Царьград и вольности болгарской буржуазии* — разве можно это равнять?

2

Наверное, цифры не помню.

3

В царстве слепых и одноглазый король  
(фр.).

4

Судьба, вместо того чтобы урбанизовать  
человека из народа, чаще всего лишь подчер-  
кивает его грубость (фр.).

5

Более европейской, чем Европа (фр.).

6

Во «Времени» же была раз высказана  
мысль, что Белинский, если бы дожил до на-  
шей эпохи, то бросил бы ту плоскую положи-  
тельность, которой он стал было поклоняться  
последнее время, и сделался бы славянофи-  
лом. Мне замечание это кажется верным. Как  
бы ни был умен и даже гениален мыслитель,  
он очень часто не предвидит крайних послед-  
ствий того учения, которому он служит; я то-  
же думаю, что такой пламенный эстетик, ка-  
ковым был Белинский, обратился бы к мос-  
ковскому духу при первом появлении Добро-  
любова и Писарева. Все это так, но этого не  
случилось; Белинский, так же, как и Григо-  
рьев, скончался не в годы упадка, а в полной

силе развития ума и таланта. Поэтому *последнее слово* их особенно важно для определения их исторической роли. Последнее слово Белинского было: *крайний европеизм и положительность*. Таков он был в статьях «Современника» и особенно в отвратительном письме своем к Гоголю, с которым знакома вся Россия. Последнее слово Апол. Григорьева было, напротив, *народность и своеобразие русской жизни*. Незадолго до смерти своей, в маленькой газетке «Якорь», не имевшей успеха (как и следовало ожидать по национальной незрелости нашей публики), он хотел развить такую мысль: «Все, что прекрасно в книге, прекрасно и в жизни, и прекрасного в жизни не надо уничтожать», в частности, он приложил эту мысль к защите юродивых, столь поэтичных в точных и реальных описаниях наших романистов, но имел в виду развить ее и шире.

7

*Примечание 1885 года.* Я напоминаю еще раз, что писал эту статью за границей в 68-м году и в Россию вернулся только в 74-м. Во многом мне на родине пришлось разочаро-

ваться; я воображал, что «свобода» даст нам больше того своеобразия, о котором я мечтал. – Но увы! я слишком скоро убедился, что хотя *прежние Правительственные системы наши со времен Петра 1-го и вносили в нашу жизнь слишком много европейского*, но все-таки и с этой стороны взятое – государственное начало в России оказалось *самобытнее свободно-общественного*.

8

Самые либеральные учреждения этих стран, в смысле поучения (если уж признавались в равенстве и «говорильнях» поучительность..), вовсе не нужны для этого, и без них есть Англия, Соединенные Штаты и даже новая Италия.

9

*Примечание 1885 года.* Систовские болгары так и сделали в 77-м году Едва только наши перешли Дунай, они в ознаменование «свободы» сняли *пунцовые фески* и надели *черные европейские шляпы*. Хороша свобода! Лакейская зависимость от вкусов или от идеалов во всем (кроме всеразрушающих машин) измелчавшей и выцветшей Европы! Хороши,

впрочем, с этой стороны и мы, русские! чего же требовать от болгар...

10

См. «Византизм и славянство».

11

Любой ценой (*фр.*).

12

*Примечание 1885 года.*

Болгары под влиянием «свободы и цивилизации, надевшей на них шляпы и панталоны», очень скоро исправились от этого порока, от почтения к властям, которое покойный Карлейль считал *высшим качеством* в народе. Недавно болгарское простонародье в Филиппополе нагрубило даже Русскому Генеральному Консулу, когда он на улице увещевал людей оставить в покое греков, вывесивших свои национальные флаги в день рождения Короля. Кто-то из этой злой уже «просветившейся» толпы сказал даже г. Сорокину так: – «Приказывай своим русским, а мы свободные болгары!» Это называется народная признательность братьев славян за пролитую нами кровь! Вот что значит – *шляпа и панталоны!*